
Людмила ТАБАКОВА

РАССКАЗЫ

ЖИТЕЙСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Летний дождичек маленькими кулачками сначала вежливо постучал по крыше, потом, мгновенно изменив имидж, напористый и наглый, ворвался в открытое окно, которое с вечера осталось открытым.

— Яша! Иди кашу с молоком есть! — сквозь липкую паутину сна пробивался голос соседки Варвары, сообщавшей утреннее меню сына.

— Яша, домой! Кому сказала!

Теперь о том, что ест Яша на завтрак, что он надежно спрятался во дворе и не слушается маму, знает весь барак.

Проигнорировать визгливые Варькины призывы и появление в квартире непрошеного гостя-дожда невозможно. Пришлось встать, теплыми губами собрать падающие с неба капли, створкой окна прищемить носы самых любопытных дождинок и, окончательно проснувшись, вернуться в реальность.

Наш старый дом — деревянный барак для работников завода, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны. Построенное из железнодорожных шпал жилье планировалось использовать как временное. Шли годы. То, что считалось временным, стало постоянным. Забытый властями и службами, вросший в землю, ветхий, сутулый, поддерживаемый рельсами-подпорками, но все-таки готовый в любую минуту рухнуть, барак неприветливо смотрел на жильцов мутными от старости стеклами окон. Казалось, он беззвучно говорил: «Устал я, люди. Когда?»

Наш старый двор — невостребованные скрипучие качели, песочница без песка, чахлая рябина у входа в барак, на одинокой клумбе сияющие от непонятной радости солнечные «ноготки»... Здесь продолжается жизнь, начатая в убогих комнатенках под прогнувшимися потолками. Перешагнешь выщербленный порог-границу, пройдешь узким темным коридором и окажешься во дворе, где жизнь бьет ключом в любое время суток. Здесь сушат белье, здесь ссорятся и любят, собираются в праздники за общим столом, делаются сокровенным.

А вот и ветхая скамейка, отживающая свой век. На ней забытый кем-то раскрытый черный зонт... Такой когда-то был у моей мамы. Она умерла. Но в комнате все напоминает о ней. В углу — односпальная кровать, застеленная кружевным покрывалом. Из-под него выглядывает подзорник с узором, искусно выбитым на машинке. Две подушки, одна на другой, прикрыты вышитой ее руками накидкой. С фотографии над кроватью смотрят добрые мамины глаза.

— Можно, Танечка, я расскажу тебе о своей маме? — просила она.

— Потом расскажешь, не видишь, устала... — резко отвечала я.

Людмила Табакова родилась на Смоленщине в 1946 году, окончила филологический факультет университета.

И она, послушная, покорная, молча удалялась на кухню, чтобы через час обратиться ко мне с тем же вопросом. Получив высочайшее позволение, мама в сотый раз начинала бесхитростную историю о близких. Ей, сироте, были приятны воспоминания о родне. Тогда я принуждала себя выслушивать ее долгие рассказы — теперь мои щеки пылали от стыда.

Так случилось, что, считая звезды, я потеряла луну и повторила судьбу мамы. Одиночество прикрывала работа. Теперь все, что было для меня неважным, напомнило о себе.

— Посидим вечером на скамеечке? Может, ты и соседа пригласишь? — прижав к телефонной трубке ухо, выпростанное из-под платка, мама звонила соседке Анне Ивановне.

Вечером на скамейке не было свободных мест. Кое-кто просто стоял, а кто-то и со своей табуреткой приходил... Ручейками журчали фразы, камешками перекатывались слова, нет-нет, бульжником прилетало и грубое, хлесткое слово. Здесь люди принципами своими измеряли жизненное пространство, исповедовались, ничего не скрывая. Тайное неожиданно становилось явным, но оно никого не удивляло. Здесь друг другу прощали многое, а в случае чего разговор плавно перетекал в другое русло.

Жизнь моя близилась к закату. Все чаще я задумывалась над тем, что пройдено, как пройдено, зачем, чем измерить? Может, количеством прожитых лет, достигнутых целей или заработанных денег? Жизненными удовольствиями? Внутренний голос подсказывал: «Держись и двигайся вперед. Единственный человек, с которым была, есть и останешься, — ты сама. Живи, пока жива».

Страна выбирала вождей, борющихся за власть, люди, ностальгируя по прошлому, барахтались в своем болотце, следуя довольно строгим правилам, а я, приоткрыв окно, вчера вечером прислушалась к разговорам соседней на скамеечке, втайне надеясь среди чужих голосов распознать голос мамы.

— Не поверите, — подшучивал над собой бывший бухгалтер Петрович, седенький аккуратный старичок с очками на лбу. — Вчера три раза ходил платить за квартиру. Пройду половину пути и забываю, куда шел...

— Это нормально, — одобрил чей-то голос.

Рассмеялись громко, беззлобно, весело.

В песочнице без песка копались дети. Четыре неоструганных доски создавали квадрат, в который давно не засыпали песок. Вот и вонзали дети совочки в смесь глины с черноземом. Катя здесь же укладывала куклу спать, прикрыв ее выцветшим бабушкиным платком. Вездесущий Яшка катал по земле машинку-самосвал и, оттопырив губы, старательно изображал звуки буксующей машины. Трехлетняя дочка Нинки-пьяницы скармливала голубям колбасу с бутерброда, которым ее угостили.

Женщины на скамеечке грызли семечки, сплевывая шелуху в целлофановые пакеты. Мужчины из полторашек потягивали пиво. Из чьего-то окна слышалось, как душевно выводил про «рюмку водки на столе», «наше всё», Григорий Лепс.

— Голосовали? — поинтересовался бывший парторг Сергей Дмитриевич, всегда гладко выбритый, подтянутый, спортивный.

— Так мы тебе и сказали, — улынувшись, ответила в рифму веселуха Настена, в коротком узком платье, которое из последних сил удерживало в рамках ее пышное аппетитное тело. — А вот крышечки для баночек, перчаточки резиновые в подарок от «Единой России» в хозяйстве сгодятся.

— Значит, голосовали. Неподкупные... — съязвил он.

Сергей Дмитриевич понимал, что социализм себя исчерпал, критиковал капитализм, но ничего другого предложить не мог. Ушла страна, которой он служил верой

и правдой, вместе с ней молодость, канул в Лету завод, исчезли надежды. Одним из первых получив жилье в новом бараке, он заботился о нем, как о близком человеке. Когда понял, что никого переселения в новый дом не будет, на последние деньги купил горбыль, собственноручно кое-как обстругал и заменил две провалившиеся ступеньки, ведущие на крыльцо. Но гвозди вбил в труху несущих балок, и ступеньки ходуном ходили, так и норовили из-под ног выскочить. Пока парторг всецело отдавался работе, сын наркоманом стал. Говорят, что подался в ИГИЛ воевать за новую веру. Какой из него вояка? Смех один! Отца теперь от экрана телевизора не оторвать. Он сообщений о сыне в скупых информационных строчках ждет: ведь в этом пекле и его кровинушка.

— А я сухарей целый мешок насушила. Мало ли чего... — вставила в разговор свои пять копеек немощная, кожа и кости, бабка Варя, по «Дороге жизни» через Ладожское озеро ребенком эвакуированная из блокадного Ленинграда.

— О! Явление Христа народу! — рассмеялась Настена, показывая пальцем на приближающуюся фигуру.

— Не узнали? Как я вам? Человеческое должно растворяться в культурном! — к бомонду присоединился бывший профсоюзный работник Андреич.

Он старался быть безупречным: стрелки на брюках, бабочка под воротником белоснежной рубашки, фетровая шляпа родом из пятидесятих годов.

— Не путай, дорогой, суету с темпераментом — в твоем возрасте люди уже меньше делают глупостей: не те возможности... Ишь, вырядился... А носки-то разные... Специально или случайно? — смерила его презрительным взглядом любительница сериалов Нина Никитична. — Я видела такую же шляпу на дикаре у пропасти. Только не знаю, в каком фильме...

Отреагировать на критику по всей строгости дворового закона Андреич мог, но не стал в силу своего статуса в прошлом и приличного воспитания.

— Я недавно к подруге в Ливадию ездила, — вклинилась в разговор Петровна, раньше времени состарившаяся полная женщина с одутловатым землистым лицом, отсидевшая в сталинских лагерях десять лет. — Там памятник поставлен Сталину, Рузвельту и Черчиллю. К нему люди ходят фотографироваться целыми семьями. Я тоже не удержалась. Завтра фото покажу. Так ребятишки поголовно лезут на колени к Сталину. А матери им кричат: «Ты что? Сдурел? К кому идешь?»

— А ты к кому на колени залезла? — поинтересовалась Настена.

— Да ее и все трое не удержат... — расхохоталась баба Стеша, забыв прикрыть рукой беззубый рот.

— Интересно... Значит, еще не снесли памятник... — в раздумье произнес Сергей Дмитриевич.

— А помните, как при Сталине за горсть украденных с поля колосьев в тюрьму сажали? Моя тетка три года отсидела... — всхлипнула чувствительная баба Варя, вытирая платочком сухие глаза.

Но тему не поддержали. То ли она в зубах навязла, то ли принародно высказывать свое мнение не хотели.

— Вы слышали? Депутаты оказали посильную помощь инвалидам. Выделили обществу слепых бесплатные билеты на теннисный турнир. — Вот мы, бывало... — пожелал остаться в зоне внимания профсоюзный лидер.

— Не верю! — голосом Станиславского изрек Сергей Дмитриевич и решительно встал со скамейки.

«Снова стою одна... Снова курю, мама, снова...» — в песне, зазвучавшей на всю катушку, Ваенга нарушала требования антитабачной кампании.

По-своему отреагировав на громкий звук и решительное телодвижение Сергея Дмитриевича, бывшая учительница со сморщенным, как печеное яблоко, лицом резко встала, поправляя измятую юбку.

— Согласитесь, идеальная женщина должна танцевать только танго, — смущаясь, решила она в столь нестандартной ситуации согласовать собственную позицию.

— Нет, танцевать только вальс и не пытаться быть идеальной. Надо идти вразрез с нравами общества, а не стоять на пьедестале, куда ее поставил мужчина. Она жить должна! — возразил Сергей Дмитриевич. — Однако пора принимать таблетки... — откланялся он, но в последнюю минуту уходить передумал.

Он задержал взгляд на учительнице несколько дольше, чем это разрешали правила приличия, и продолжил беседу:

— А как вы, уважаемые, относитесь к фразе, придуманной американцами: «Если ты умный, почему бедный?»

— Читал в какой-то книжонке, что один ленинградский ученый при входе в трамвай снимал галоши. Философ, политик, но беспомощный в быту. Богатым может сделать только практический ум. Можешь знать что угодно, но пока не доказал это на практике, ты не знаешь ничего, — ответил на вопрос вдовец с многолетним стажем Егор Семенович, всю жизнь искавший счастье в книжных магазинах.

«Летать так летать... Любить так любить... Стрелять так стрелять...» — под гитарные аккорды выкладывал свою жизненную позицию Розенбаум.

— Люблю Розенбаума и Киркорова... Еще... как его там? Баскова... Конкретные мужики, — одобрил музыку, звучащую из окна, Петрович.

— Я вам вот что скажу, дорогие мои. Научитесь вы держать глаза открытыми. Неправильно уважать человека только за его талант. Многие личности, извините, настоящие скоты. А вы?! Если хорошо поет, значит, ангел. Не создавайте себе кумира! Не выполняйте работу дьявола! Искушаем похвалами несчастного, он и впадает в грех высокомерия, — Егор Семенович в последнее время питался только духовной пищей и на глазах худел.

— Женщины, Нинка из первого подъезда опять запила. Девчонка голодная... Я напекла блинов, отнесла. Как девочка радовалась! Обнимала меня, обнимала... — заспешила тетя Груня, добрая душа, включить в разговор близкую всем тему.

— Это хорошо, Нин, не забывай, однако: чем добрее душа, тем труднее судьба... — подумав о чем-то своем, вздохнула женщина бальзаковского возраста Стеша, прикрыв глаза, один из которых оказался ненакрашенным.

— А я вчера на распродажу попала. Фарш свиной по дешевке давали... Правда, в очереди пришлось постоять, но мы привычные. В блокаду вон какие очереди выстаивали... — успела вставить фразу блокадница.

«Одиночество — с... Одиночество — сволочь...» — ругалась певица, проклиная свое одиночество.

Прислушались. Настена и баба Стеша даже подпели:

— ...С... сволочь...

Из лирического состояния вывела всех буфетчица Верка:

— Слышала, что в твоём любимом городе, бабка Варя, «если что», обещают хлеба опять по триста граммов давать.

— Ну и что? Мы привычные... — сказал Максим Петрович, человек, который и с Богом не пропадет и без Бога выстоит.

— Ой! Чуть не забыла сказать. Объявление видели? «Кандидат филологических наук съмет квартиру», — дождалась очереди учительница. — А вот еще забавное: «Ищу работу, связанную с собаками. Опытный педагог».

- Ха-ха-ха...Видно, бизнесом решила заняться по совету свыше, — смеялись все.
- А я в свое время завидовал отцу, что он получает пятнадцать тысяч. Сбылось. Теперь и я столько получаю, но никто не завидует, — поделился сокровенным Степан.
- Не деньгами жизнь измеряется... — дед Федор, здоровяк с хитринкой в прищуренных глазах, долго шел кривыми переулками, пока не вышел на прямую дорогу.
- А чем? — поинтересовалась учительница.
- Кто чем измеряет... — не выдал он «военную тайну».
- Помолчали. Нарушая тишину, чирикали воробьи, ворковали голуби...
- Все ничего, все ладно... — прервала паузу баба Стеша. — Только вот беда: внучка мясо не ест. Моя дочка говорит, что ее загипнотизировал телевизор, а зять думает, что она попала в секту. Вот горяшко...
- Если моя такое удумает, убью и собственноручно позвоню на НТВ, — сделал вывод дед Федор.
- Ветер на секунду прикрыл створку окна. Она жалобно скрипнула, недовольная его бесцеремонностью, и тут же застыла.
- Захлебывался фиолетовыми сумерками день. Соседи мои не принадлежали ни вчерашнему, ни сегодняшнему, ни тем более будущему. Вот она, живая история. Хорошо, что этих людей не испортит ни власть, ни деньги, потому что у них никогда не будет ни того, ни другого. Другое измерение...

ОБМАНУТЫЕ ДАЛЬЮ

На косогоре, как плоты на речном заторе, вздыбились избы. Смотрели они горящими на солнце окнами на енисейские дали, на плакучие ивы у самой реки, на деревенских мальчишек, ловивших с берега рыбу, на беду, выручку и надежду — паром, соединяющий не только берега, но и людей с их проблемами, отношениями, чувствами...

Мудро распорядилась хозяйка-природа: не надеясь на человека, за тремя реками спрятала она богатства Сибири, сделала недоступными для рвачей и хапуг, защитилась дальними расстояниями, весной и осенью — плохими дорогами, летом — несметными полчищами мошки, зимой — трескучими морозами.

На берегу у парома теснились в очереди люди. Лица хмурые, не улыбочивые... Вон сердитый хромой бородач застыл в неудобной позе на телеге с сеном. Рядом недовольно поджала губы полная женщина в яркой панаме. В ожидании посадки волнуется народ, но сдерживает эмоции, готовые по условному сигналу вырваться на волю, стоит только чиркнуть спичкой о коробок.

А вот колоритная парочка — белый верблюд и осел. Рядом, видимо, их хозяин — невысокого роста молодой красавец — азиат в тибетейке. Необычное явление... Любопытно... Эй! Кому хочется быть оплеванным или получить удар тяжелым копытом двухметрового великана, подходи!

Есть желающие! Мужчина-азиат со всей ответственностью стремился выполнить просьбу пьяненькой женщины. «Мадам» не хотела идти по скользкому трапу, она пыталась взгромоздиться на осла. Попытки оказались безуспешными. «Мадам» перекачивалась через спину ослика, не успевая задержаться в вертикальном положении. При этом она цеплялась за одежду мужчины, притягивала его к своему разгоряченному телу. Наконец хозяин нашел выход. Одной рукой он держал женщину, другой — поводья.

- Старый осел молодую везет!
- Поездка во сколько обойдется?

— Платить будет как? Натурой? — наконец-то развеселился народ, соревнуясь в остроумии.

Я, улыбаясь, со стороны наблюдал эту сцену. Но как только оказался на пароме, сразу подошел к азиату, отодвинул плечом «мадам», погладил невеселого верблюда, потрепал за уши осла.

— Таджикистан? — спросил я, протягивая парню сигарету.

— Да, Пенджикент, ба худо. Верить? — улыбнулся таджик. — Я — Фарход. А ты?

— Зови меня Федор. Какими судьбами в этих краях? — я торопился задавать вопросы и затянулся сигаретой так, что она мгновенно превратилась в окурок, обжигающий пальцы.

— Мы здесь втроем. Я, верблюд и осел. Ты заметил? Что может позвать далеко? — глаза Фархода подернулись мечтательной дымкой. — Ты не видел мою невесту... Красавица. Лена. Русская она. Жениться хочу. Деньга надо. Жирный Даврон — человек-вагон на лето одолжил мне верблюда и осла. Пойду от села к селу. Мальчик катаю туда-сюда, груз везу... Да-а... Показ — деньга беру...

Я засомневался в смелом проекте Фархода, но разочаровывать его не стал. Пусть и ему, как мне когда-то, откроется новая даль, и пусть она его не обманет.

Что может быть страшнее одиночества среди людей? В Сибири я оказался зимой. Помню, пьяный, лежал на спине сугроба, смотрел на звезды, пригоршнями ел снег, чтобы заморозить тоску по теплым родным краям, близким людям и приглушить запах водки. Рядом поляна нетрезвой рябины, спелые ягоды которой еще осенью забродили от счастья в теплых объятиях бабьего лета. Теперь, раскрасневшиеся на морозе, они покачивались на ветках, смущенно прикрываясь снежными шальями. А дрожащие от холода нижние ветки стыдливо, неумело пытались натянуть на обнаженные стволы лохматые сугробы. Шустрый соболек в нарядной зимней шубке, застегнутой на две блестящих бусинки хитрющих глаз, захмелев от пьяных ягод, стройным гибким телом приглаживал сугроб под рябиной.

Пьяные ягоды, солнце, соболек, устроивший праздник свободы души на лесной поляне, и буравчиком в голове один и тот же вопрос: «Ты вернешься ко мне? Вернешься?» Голос Фархода вернул в настоящее.

— Можно я расскажу тебе о моей Лене? Да? Ее отец где-то на Сибирь, тут. Да-а... Она не видела его. Ни разу, верить? Однажды он прислал письмо. И мама Лены решила ехать. Зачем? Послали отцу телеграмму: «Будем в гостинице ждать». Приехали втроем. Мать, Лена, Сашка. Ждали. Потом много ждали. Не дождалось. Он уехал дальше, давно. Телеграмма не получал. Деньга нет. Крыша нет. Красивый мама есть. Да-а... Нашелся добрый человек, дал деньга на дорога назад Таджикистан...

Память настойчиво тиражировала слова: «Ждали. Потом много ждали. Он уехал дальше, давно...» Фарход говорил долго. Я начал воспринимать речь как бессмысленно повторяющиеся звуки...

В кристально чистой воде Енисея на малой скорости парома проплывали белые облака. Но белый цвет капризен, изменчив, он легко поддавался соблазнительному прикосновению приблизившейся тучи и легкомысленно растворился в ней.

Теперь в потемневших водах я едва различал крохотный дворик, устроившийся между двумя «хрущевками». Между домами — пару горбатых ив и журчащий чистой водой арык. За высоким забором абрикосовый сад, который каждый считал своим. В семистах метрах, если обойти каменный дувал, нес свои воды Зеравшан — украшение древнего Пенджикента. Границы города когда-то охраняли сторожевые башни. А теперь я увидел их превратившимися в холмы — «шляпы». Вот они, покрытые плотной жесткой травой, красные от цветущего мака...

Родина... Нет, я не таджик. Я русский, родившийся в Таджикистане. Мои соседи — узбеки, татары, армяне, казахи — жили одной дружной семьей. Кажется, я слышу звук зурны, собирающий всех на праздник. Сообща накрывают на стол. Сосед Фируз тащит бутылку с вином, Алия — лепешки, Давон — шашлыки, мой парнишка Сашок принес трехлитровую банку кильки, купленную на последние деньги в магазине, фрукты без меры несут все...

Легкие, как пушинки, сестры Габриэлян улаждают взоры танцем... В дальнем углу двора звучит дутар... Там тоже танцуют...

А вот и она, моя жена — красавица Жанна... Смоляные волосы — локонами, черные глаза — бездонным омутом, тонкий стан — былинкою... И загорелись звездами глаза веселящихся мужчин. Прочь духовное! Прочь эпоху сильных, умных и независимых женщин! Кто сказал, что они лучше красивых?

Женщины нашего двора... Я наблюдаю за ними из окна. Фируза — ангел в доме. Она радуется глаз, сердце и желудок мужа опрятным внешним видом, кроткой улыбкой, вкусной едой, уютом в доме.

Анна всегда рядом с детьми, их четверо. Милые, милые, непосредственные, живые...

Жена башмачника Одила-крокодила напоминает неприбранную постель...

Около часа я ломал мысли о женскую красоту, пока не понял, что Жанне пора домой. Ее движения стали неуверенными. Принимая очередной стакан с вином, она пошатнулась и упала в объятия стоявшего рядом мужчины.

Я спустился во двор.

— Салом малейкум, дорогой, — приветствовал меня сосед.

— Салам, Илькам, — похлопал я по плечу татарина. — Жанну хочу домой увести. Устала женщина. Беременная она...

— От кого беременна, дорогой?

— Странный ты, брат. Я говорю тебе, что моя жена беременна, а ты спрашиваешь от кого, — мой голос дрогнул.

— Извини, брат. Я думал, ты знаешь... — оправдался подвыпивший сосед.

Я ждал раскаяния, мольбы о прощении, но Жанна не пыталась мне что-то объяснить ни сразу, ни на следующий день. Она молчала, утверждая молчанием свою правоту. Ее красота больше не радовала меня совершенством.

Холодное отчаяние с почестями похоронило надежду на семейную жизнь. Обида душила, не давала дышать, стальным кольцом стягивала грудь. И как ответ на это унижение — решение быть гордым застыло на моем железной маской.

— Ты вернешься ко мне? Вернешься? — это последние слова Жанны.

Мне казалось, что умею летать, и я бросился в пропасть. Не ошибся. Сил хватило взлететь почти с самого дна.

Географию России я изучал не по атласу. Моя судьба, как горнолыжник, закладывала на склонах жизни сложнейшие виражи. Я менял города, месил сапогами грязь деревенских проселков, не брезговал никакой работой, богатым не стал, но на жизнь хватало. Не было только уверенности в завтрашнем дне. Я жил на фоне страха, не видел будущее.

Окончательно осел в Сибири в дальнем медвежьем углу, о котором говорят, что там медведей больше, чем людей. Освоился, прижился. Работал по профессии фельдшером в местном медпункте, охотился, рыбачил. Вот только семья не складывалась. Может, потому, что Жанна снилась часто, снился Сашок... Еще чаще снился ребенок, которого никогда не видел. «Ты вернешься ко мне? Ты вернешься?» — спрашивала Жанна, такая же молодая и красивая, как и двадцать лет назад. Что ответить ей, я не знал.

— Да ты не слушаешь... — рассердился Фарход, заметив мой отрешенный взгляд.

Я вздрогнул и поднял глаза.

— Так вот, — продолжал Фарход, убедившись, что снова завладел моим вниманием, — я думал: уехать или нет? Хотел что-то сделать себе, для эта... Ватан... да, вспомнил — Родина, для любимой девушки и не знал, что надо. Сибирь богатый... Заработаю деньга, вернусь к Леночке. Мы живем там, где во дворе с чистой вода арык. За забором — абрикосовый сад. Недавно посадили новый. Ты знаешь, что имя Елена только у самых красивых девушка? Нет? Она будет моей женой. Ба худо!¹

Арык с чистыми водами, абрикосовый сад... Совесть била во все колокола:

— Ты отыщешь их! Ты отыщешь! Отыщешь!

— Ба худо! — попытался я перекричать звон колоколов, потом совсем тихо продолжил: — Трудом праведным не наживешь палат каменных. А если и заработаешь, могут тут же отобрать. Будем верить, что тебе повезет, Фарход. Остановишься у меня. У судьбы нет привычки сводить посторонних.

Через пятнадцать минут другой берег Енисея принял паром, соединивший не только берега, но и людей с их проблемами, отношениями, чувствами. Горящие на солнце окна изб видели, как сошли с него люди. Среди них — русский, седой мужчина зрелого возраста, и странное трио: таджик, верблюд и осел.

¹ Ба худо (тадж.) — я клянусь.